

БРУ
Е
О

политики природы

Ц

А

ТУР

Бруно Латур

**Политики природы. Как
привить наукам демократию**

«Ад Маргинем Пресс»

2004

УДК 165:[32.01:502.1]
ББК 87.25+66.09+60.023

Латур Б.

Политики природы. Как привить наукам демократию / Б. Латур —
«Ад Маргинем Пресс», 2004

ISBN 978-5-91103-421-4

В книге известного французского философа Бруно Латура (р. 1947) развивается оригинальный проект «экспериментальной метафизики». Ее главной целью является выработка новой концепции политической экологии, которая позволила бы совместить научные практики с демократическим процессом принятия решений, что требует одновременного пересмотра трех фундаментальных для западной философии понятий логоса, фюсиса и полиса. Опираясь на разработки в области социологии наук, сравнительной антропологии, политической философии, а также на принципиально новое осмысление практики экологических движений, Латур предлагает программу построения «общего мира», в котором нечеловеческие акторы принимают участие на равных с людьми. В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

УДК 165:[32.01:502.1]
ББК 87.25+66.09+60.023

ISBN 978-5-91103-421-4

© Латур Б., 2004
© Ад Маргинем Пресс, 2004

Содержание

Введение	6
Благодарность	11
1. Почему политическая экология не может сохранить природу?	12
Для начала – выйти из Пещеры	13
Экологический кризис или кризис объективности?	18
Конец природы	23
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Бруно Латур

Политики природы. Как привить наукам демократию

Изабель Стенгерс – философу требовательности

Bruno Latour
Politiques de la nature
Comment faire entrer les sciences en démocratie
La Découverte

© Editions La Découverte, Paris, France, 1999, 2004
© Блинов, Е., перевод, послесловие, 2018
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2018
© Фонд развития и поддержки искусства «АЙРИС» / IRIS Foundation, 2018

* * *

Концепции политического и концепции природы всегда оставались в тесной связке подобно двум сиденьям на детских качелях: когда одно поднималось, другое неизменно стремилось к земле. Никогда не существовало политики, которая не была бы одновременно политикой *природы*, как и природы, которая не была бы *политической*. Эпистемология и политика – это, как мы теперь поняли, составные части одного и того же процесса, объединенного под грифом (политической) эпистемологии, чтобы сделать недоступными для понимания как научные практики, так и саму суть общественной жизни.

Бруно Латур

Уведомление

Смысл всех терминов, отмеченных знаком •, разъясняется в конце настоящего тома в Глоссарии. Поскольку я воздерживаюсь от любых лингвистических нововведений, этот знак использован для напоминания читателю, что смысл устоявшихся выражений я буду уточнять постепенно.

Текст примечаний находится в конце книги и распределен по главам в Примечаниях.

Введение

Что делать с политической экологией?

Что делать с политической экологией? Да ничего. Что нам тогда остается? Заниматься политической экологией!

Первый вопрос задавали те, кто надеялся на обновление общественной жизни через политику природы, констатируя при этом стагнацию движений, которые принято причислять к «зеленым». Они хотели бы знать, почему гора так часто рождала мышь. На второй вопрос, несмотря на мнимые расхождения, у всех один ответ. Мы не можем поступать иначе, ведь не может быть политики с одной стороны и природы – с другой. С тех пор как возникло само понятие, всякая политика определяется через ее отношение к природе, причем каждое ее проявление, каждое свойство, каждая функция зависит от полемически заостренного намерения ограничить, реформировать, обосновать, попытаться обойти или же разъяснить характер общественной жизни. Поэтому у нас нет выбора, заниматься или нет политической экологией, однако мы можем заниматься ею либо тайком, *разделяя* вопросы политики и вопросы природы, либо *открыто*, рассматривая их как составные части одного вопроса, который встает перед любым *коллективом*. В то время как экологические движения заявляют о вторжении природы в область политики, нам нужно попытаться представить, чаще всего вместе с ними, но иногда и вопреки им, чем могла бы быть политика, над которой больше не висит дамоклов меч под названием природа.

Нам могут возразить, что политическая экология уже существует. У нее есть бесчисленные нюансы, от самой глубинной до самой поверхностной, не говоря уже о всевозможных разновидностях утопий, рационализма или либерализма. Со всеми возможными оговорками, эти движения уже связали политику и природу тысячами нитей. Ведь все хотят именно этого: проводить, наконец, политику природы; изменить общественную жизнь таким образом, чтобы она, в конце концов, считалась с природой; приспособить нашу систему производства к ее требованиям; словом, оградить природу от негативного воздействия человека за счет взвешенной и дальновидной политики.

Как же мы смеем утверждать, что в этой области есть новая задача, к решению которой еще никто не приступал? Можно спорить о ее пользе, придираться к ее практическому применению, но нельзя делать вид, будто ею вообще не занимались и она вовсе не сформировалась. Если политическая экология потерпела неудачу, то явно не из-за того, что никогда не пробовала приспособить природу к условиям общественной жизни. Если она утратила свое влияние, скажут одни, то только потому, что ей противостояли слишком могущественные силы; или, как скажут другие, она никогда не была настолько содержательной, чтобы бросить вызов традиционной политике. В любом случае слишком поздно возвращаться к этому вопросу. Надо либо навсегда похоронить это движение на и без того переполненном кладбище идеологий прошедшего века, либо сражаться еще отважнее за ее победу в нынешнем виде. В обоих случаях ставки уже сделаны, понятия определены, точки зрения известны. Вы слишком поздно встречаете в давно заглохшую дискуссию. Тут не о чем больше думать. Высказываться надо было лет десять тому назад.

Мы хотим предложить в этой книге иную гипотезу, которая, возможно, оправдывает наше несвоевременное выступление. С теоретической точки зрения политическая экология *даже не начиналась*; до сих пор просто объединяли слова «политика» и «природа», совершенно не вдумываясь в их содержание; поэтому вызовы, с которыми до сих пор сталкивалась политика природы, не доказывают ровным счетом *ничего*: ни в отношении ее прошлых неудач, ни в отношении ее возможного триумфа в будущем. Эта задержка объясняется очень просто. Мы нико-

гда не поймем значения слов *ойкос*, *логос*, *фюзис* и *полис*, если не будем рассматривать все четыре концепта одновременно. До сих пор считалось, что на этой теоретической работе можно сэкономить, не отдавая себе отчета в том, что понятия природы и политики на протяжении веков разрабатывались именно для того, чтобы *сделать невозможным* их сближение, синтез или какое-либо сочетание. Но, что еще хуже, в порыве экуменического энтузиазма делались попытки «преодолеть» античное разделение людей и вещей, субъектов права и объектов науки, без всякого понятия о том, что они были задуманы, сформированы и отшлифованы именно для того, чтобы со временем стать несовместимыми.

Вместо того чтобы «преодолевать» дихотомии между человеком и природой, субъектом и объектом, промышленностью и окружающей средой, для скорейшего нахождения средства выхода из кризиса стоило бы, напротив, *замедлить* движение, не спеша приостановить его, а затем подобраться к этим дихотомиям снизу, подкапываясь, как старый крот. Во всяком случае, наш довод состоит именно в этом. Вместо того чтобы рассечь гордиев узел, мы распутаем его тысячью разных способов, до тех пор, пока не протащим в угольное ушко, чтобы расплести, а затем сплести заново. В политической философии, чтобы не потерять время, все надо делать не спеша. Экологи чересчур льстили себе, выбрав в качестве девиза: *Act locally, think globally*¹. На самом же деле, из глобального они позаимствовали только идею природы, уже сформированной, обобщенной [totalisée] и учрежденной [instituée] для того, чтобы нейтрализовать политику. Чтобы мыслить «глобально», надо было начинать с изучения социальных институтов, за счет которых медленно формируется эта глобальность. Поскольку, как мы вскоре убедимся, природа в нее совершенно не вписывается.

Да, в этой книге мы будем двигаться как черепаха из басни, и, смеем надеяться, подобно ей, в конце концов обгоним зайца, который своим великим умом постиг, что политическая экология это уже давно пройденный, закрытый вопрос и что он не в состоянии побудить нас к мысли, обновить мораль, эпистемологию и демократию, или же рассчитывает в три прыжка достигнуть «примирения человека с природой». Чтобы заставить себя двигаться медленно, мы будем интересоваться одновременно науками, разновидностями природы и политики.

Научное производство – это первая преграда, которую мы встретим на нашем пути. Политическая экология, скажут нам, занимается «природой в ее отношении к обществу». Прекрасно. Но эта природа становится познаваемой посредством наук; она сформирована при помощи соединенных в сеть приборов; она определяется при участии профессий, дисциплин, протоколов; она распространяется через базы данных; она обосновывается учеными сообществами. Экология, как указывает ее название, не имеет доступа к самой природе; она является «логией», как и все прочие научные дисциплины. За тем, что принято называть науками, мы находим достаточно сложное сочетание доводов и их производителей, ученый Град [Cité], который действует *как третье лицо* во всех отношениях с обществом. А ведь именно от этого третьего лица экологические движения хотели бы избавиться, чтобы приблизить успех своей борьбы. Наука для них – это зеркало природы, причем до такой степени, что почти всегда в подобной литературе природа и наука употребляются как *синонимы* (1). Согласно нашей гипотезе, напротив, загадку научного производства нужно поместить в число важнейших проблем политической экологии. Возможно, таким образом мы замедлим процесс получения очевидностей, которые можно использовать как оружие в политической борьбе, но введем третий термин между природой и обществом, роль которого окажется первостепенной.

Природа – это второй «лежачий полицейский», который встретится на пути политической экологии. Каким образом природа, возразят нам, может в принципе мешать всей системе научных дисциплин и инициатив активистов, которые направлены на то, чтобы лучше ее сохранить, внушить к ней уважение, защитить и встроить ее в политический механизм, сделать эсте-

¹ Действуй локально, думай глобально (англ.). – Здесь и далее под приводятся примечания переводчика.

тическим объектом, правовым субъектом, так или иначе – предметом наших забот. Однако именно в этом заключается проблема. Всякий раз как мы пытаемся смешивать научные факты с эстетическими, политическими, экономическими и моральными ценностями, мы ставим себя в затруднительное положение. Если мы во всем соглашаемся с фактами, то все человеческое попадает в сферу объективности, становится чем-то предсказуемым и поддающимся расчету, энергетическим балансом, еще одним видом среди всех прочих. Если мы во всем ориентируемся на ценности, то природа оборачивается зыбким мифом, растворяется в поэзии и романтике; все становится душой и духом. Если мы смешиваем факты и ценности, то выбираем наихудшее из зол, так как лишаемся одновременно автономного знания и независимой морали (2). Мы никогда не узнаем, к примеру, скрывается ли за апокалиптическими прогнозами, которыми нас пугают экологические активисты, власть ученых над политиками или господство политиков над бедными учеными.

В этой книге выдвигается гипотеза, согласно которой политическая экология вообще не занимается «природой» – этой помесью греческой политики, французского картезианства и американских парков. Скажем прямо: *с природой совершенно ничего нельзя поделать*. Более того, ни в одном моменте своей короткой истории экологическая политика не занималась ни природой, ни ее защитой, ни ее сохранением. Как мы покажем в первой главе, вера в собственный интерес к природе – это детская болезнь политической экологии, которая мешает ей преодолеть свое бессилие, осознав, наконец, смысл собственной деятельности. Мы надеемся, что этот процесс отлучения от материнской груди, каким бы резким он ни казался, даст куда более важные результаты, чем искусственное поддержание веры в то, что природа является единственным предметом экологической политики.

Третье препятствие, самое обсуждаемое и вызывающее наибольшую тревогу, возникает из-за политики. Известна разница между экологией научной и политической, между экологом и борцом за защиту окружающей среды [*écologiste militant*]. Известны и трудности, которые всегда испытывали экологические движения, пытаясь найти свое место на шахматной доске современной политики. Правые? Левые? Крайне правые? Крайне левые? Ни правые, ни левые? В администрации? Неизвестно где, в утопии? Сверху, вместе с технократами? Снизу, вернувшись к истокам? По ту сторону, в полной самореализации? Везде, как предполагает изящная гипотеза Геи о Земле, которая собирала бы все экосистемы в единый организм? Но если возможна наука Геи, культ Геи, существует ли политика Геи? Если мы вмешиваемся, чтобы защитить Мать-Землю, это все еще политика? Если все это нужно, чтобы покончить с вредными воздействиями на окружающую среду, закрыть муниципальные свалки, снизить шум от коллекторов, то не стоит лезть из кожи вон: на это хватит одного министерства. Наша гипотеза заключается в том, что до сих пор это была попытка поместить себя на шахматную доску без перечерчивания клеток, создания новых правил игры и способа движения фигур.

На самом деле, нет никаких доказательств того, что перераспределение задач между человеческой политикой и наукой о вещах, между требованиями свободы и властью необходимости само по себе может надежно защитить политическую экологию. Не стоит ли пойти дальше и предположить, что определения человеческой свободы всегда давались ради того, чтобы подчинить ее законам естественной необходимости. В таком случае демократия была бы бессильной изначально. Человек рожден свободным, но повсюду он в цепях; общественный договор призван его освободить; только политическая экология способна на это, но не от свободного человека ей стоит ожидать спасения. Вынужденная в поисках своей ниши заново определять политику и науку, свободу и необходимость, человеческое и нечеловеческое, политическая экология растеряла свой запал в процессе. Она полагалась на природу в надежде ускорить наступление демократии. Сегодня она испытывает недостаток и в том, и в другом. Стоит заново взяться за решение этой задачи, выбрав более долгий и опасный путь.

К какому высшему авторитету мы можем апеллировать, чтобы подвергнуть политическую экологию тройному испытанию научным производством, расставанием с природой и новым определением политического? Являются ли автор и те, кто его вдохновляют, борцами за окружающую среду? Нет. Известными экологами? Тем более. Влиятельными политиками? Ни в коем случае. Если бы мы могли сослаться на какой-нибудь авторитет, которому стоило бы довериться, читатель выиграл бы время. Но речь не идет о том, чтобы выиграть время, набрать темп, обобщить большие объемы данных, наскоро решить безотлагательные проблемы, предотвратить молниеносное наступление катаклизмов при помощи столь же молниеносных действий. И даже не о том, чтобы с педантичностью эрудита воздать должное мыслителям, рассуждающим об экологии. В этой книге просто еще раз ставится вопрос, адресованный себе, и, возможно, только себе самому, как могут взаимодействовать природа, наука и политика. Эта слабость, как нам кажется, позволит нам продвинуться дальше, чем сила.

Если у нас нет никакого особого авторитета, мы тем не менее воспользуемся определенным преимуществом, которое только и позволяет нам обращаться к читателю: нас настолько же интересует научное производство, как и производство политическое. Или, скорее, *мы в одинаковой мере восхищаемся* политиками и учеными. Как может представить себе читатель, подобное уважение к обеим сторонам встречается не так часто. Отсутствие у нас авторитета служит гарантией того, что мы не будем использовать ни науку для закабаления политики, ни политику для закабаления науки. Это незначительное преимущество мы рассчитываем сделать нашим главным козырем. На поставленный вопрос «Что делать с экологической политикой?» у нас пока нет окончательного ответа. Мы знаем только, что если не попытаться разрубить гордиев узел науки и политики, изменив выражения, в которых ведется дискуссия, то самый масштабный эксперимент никогда ничего не докажет ни одной из сторон. О нем невозможно будет составить адекватный отчет; и мы вечно будем укорять себя за упущенный шанс дать новое определение политики, которое могла бы дать экология.

Добавим последнее ограничение, которое мы на себя накладываем. Хотя мы должны перекроить три взаимосвязанных понятия природы, науки и политики, мы предпочитаем избегать как разоблачительного, так и пророческого тона, который столь часто звучит в работах по политической экологии. Хотя мы готовимся рассмотреть целый ряд гипотез, одну причудливее другой, мы прежде всего хотели бы отстаивать точку зрения здравого смысла [*sens commun*]. Похоже, на данном этапе он противопоставляется благоразумию [*bon sens*], ведь чтобы успеть быстрее, нужно продвигаться постепенно, а в поисках простоты мы временно должны притвориться радикалами. Таким образом, наша цель заключается не в изменении сложившегося концептуального порядка, а в описании текущего положения дел: политическая экология уже на практике осуществила все то, чего мы от нее ожидали. Мы берем на себя риск утверждать, что необходимость действовать немедленно до сих пор мешала ей в полной мере осознать оригинальность работы, которую она выполняла на ощупь, будучи не в состоянии *определить новое место науки, связанное с инновациями*. Единственная услуга, которую мы можем ей оказать, это предложить новую интерпретацию себя самой, другой здравый смысл, чтобы она могла прикинуть, подходит ли он ей. До настоящего момента, как мы полагаем, философы не предлагали политике природы ничего, кроме готовых платьев. Мы же считаем, что она заслуживает, чтобы для нее шили на заказ, и тогда, возможно, она будет не так стеснена в своих движениях (3).

Чтобы размер этой книги не превысил разумного объема, мы мало говорили о полевых исследованиях, на которых она основана. Не имея возможности прояснить суть предъявленных аргументов посредством надежных эмпирических доказательств, мы намеренно расположили их таким образом, чтобы читатель был в курсе ожидающих его затруднений: помимо словаря, мы поместили в конце краткое резюме, которое можно использовать наподобие «шпаргалки»! (4) В любом случае ни одна лачуга, забитая концептами, не в состоянии передать великолепие

пейзажа, посреди которого возвышается ее жалкий деревянный остов, оставляя лишь узкий просвет, только и доступный для теории, выглядывающей из-за своих тесных окон.

В первой главе мы избавимся от понятия природы, последовательно обращаясь к данным социологии наук, практике экологических движений (рассматриваемой в отдельности от их философии) и сравнительной антропологии. У политической экологии, как мы увидим, нет рецепта сохранения природы. Во второй главе мы обратимся к вещественному обмену между людьми и нелюдью [non-humains], что позволит нам, обозначив его как коллектив, найти замену существующим политическим учреждениям, до сих пор по недоразумению объединенным под эгидой природы и общества. Этот новый коллектив позволит нам в третьей главе перейти к пересмотру одной священной границы – между фактами и ценностями, поставив на ее место новое разделение властей, которое даст нам более подходящие моральные гарантии. Эта граница между двумя новыми ассамблеями, одна из которых задаст себе вопрос «Сколько нас?», а вторая – «Можем ли мы жить вместе?», которые и лягут в основу Конституции политической экологии. В четвертой главе усилия читателя будут вознаграждены «экскурсией» по новым учреждениям, а также представлением новых ремесел, позволяющих вдохнуть жизнь в политическое тело, которое наконец-то станет жизнеспособным. Трудности вновь возникнут в пятой главе, когда мы будем вынуждены найти замену старому разделению на природу в единственном числе и культуры – во множественном, чтобы заново поставить вопрос о числе коллективов и постепенном становлении общего мира, который столь поспешно упростил наши представления о природе и обществе. Наконец, в заключении мы зададимся вопросом о разновидности Левиафана, который позволит политической экологии выйти из естественного состояния. Возможно, оценив открывшийся вид, читатель простит нам эти скитания по бесплодной земле.

Прежде чем покончить с введением, следует уточнить тот особый смысл, который мы вкладываем в сам термин «политическая экология». Мы знаем, что принято различать экологию научную и политическую, поскольку первая практикуется в лабораториях и полевых экспедициях, а вторая – в политических движениях и в парламенте. Но поскольку мы собираемся основательно пересмотреть само разделение терминов науки и политики, будет понятно, что мы не сможем принять за чистую монету это разделение, которое станет совершенно непригодным по мере нашего продвижения. После нескольких страниц станет ясно, что нам совершенно непринципиально разделять тех, кто хочет изучать экосистемы, защищать природу и окружающую среду, и тех, кто намерен возродить [régénérer] общественную жизнь, поскольку мы хотим научиться различать построение общего мира «при соблюдении процессуальных норм» от того, что осуществляется без всякой утвержденной процедуры. В настоящий момент мы сохраняем термин «политическая экология», которая останется для нас некоей таинственной эмблемой, обозначающей, пока мы не торопимся с его точным определением, приемлемый способ построения общего мира, который греки называли *космосом*.

Благодарность

У подобной книги имеется не автор, а скорее редакционный секретарь, ответственный за составление текста и вывод правильных заключений. Автор выскажется на эту тему подробнее и с указанием личностей в комментариях, где он сошлется на опыты и процитирует тексты, которые более всего на него повлияли; в основном тексте книги секретарь будет придерживаться первого лица множественного числа, что более всего подходит тому, кто говорит от имени огромной «коллаборатории», и воздержится, по мере возможности, от того, чтобы прерывать неспешный и трудоемкий ход концептуальной работы, которая должна полностью занять внимание читателя.

Министерство окружающей среды при помощи своего Отделения разработок и исследований [Division des études et recherche] любезно поддержало этот необычный проект фундаментального исследования, которое с самого начала подразумевало написание книги (контракт 96060). Разумеется, оно ни в коей мере не несет ответственности за конечный результат. На протяжении моей длительной работы над проектом я мог рассчитывать на неоценимую помощь Клода Жильбера, посредничество которого позволило создать своеобразную исследовательскую среду для изучения коллективного риска. Я благодарю студентов Лондонской школы экономики, и в особенности Нортье Маррес, которые посещали все мои занятия по политике природы и которые придали этому начинанию его окончательную форму. Я в высшей степени признателен экспертам, которые согласились взять на себя труд оценить мои первые наброски, в особенности Мари-Анжель Эрмитт и Лорана Тевено. Назвать их всех – означало бы слишком рано обнаружить широкий диапазон моей некомпетентности и степень, в которой я им обязан. В примечаниях будет указан их наиболее значимый вклад.

Составление этой книги продвинулось вперед только благодаря ценнейшим исследованиям Флориана Шарволяна о Министерстве окружающей среды, Рэми Барбье – об отходах, Патриции Пелегрини – о домашних животных, Элизабет Рэми – о линиях высокого напряжения, Жан-Пьера Ле Бури – о водной политике, Жан-Клода Пети – о заключительном цикле переработки ядерного топлива, Янника Барта – о захоронении ядерных отходов, Волононы Рабизора и Мишеля Каллона – о французской Ассоциации по борьбе с миопатией.

Следуя слегка измененному изречению Сюлли «Воровство и бриколяж – суть два кормящих сосца науки», я беззастенчиво обворовывал «Космополитики» Изабель Стенгерс, которой посвящено настоящее произведение, а также исследования Мишеля Коллона по антропологии рынка. На протяжении этих двух лет я постоянно воздавал должное подлинно историческому опыту моего друга Дэвида Вестерна, который в решающий момент был главой «Службы охраны дикой природы Кении» [Kenya Wild Life Service], вполне отдавая себе отчет в том, какая дистанция отделяет политику природы, которую я задумал в своем кабинете, от той, что он реализовал каждый день на практике, окруженный слонами, масаи, туристами, меценатами со всего мира, местными политиками, стадами буйволов и гну, не говоря уже о «дорогих коллегах» и прочих хищных тварях...

1. Почему политическая экология не может сохранить природу?

Нам говорят, что интерес к природе является нововведением политической экологии. Что она расширила узкое поле зрения классической политики, поместив в нее новые существа, которые до сих пор были мало представлены или не представлены вовсе. В первой главе мы хотим проверить на прочность эту связь между политической экологией и природой. Мы покажем, что политическая экология, несмотря на ее постоянные заявления, не может сохранить природу. На самом деле, природа вечно препятствует проведению общественных дискуссий. Этот тезис, который, как мы убедимся, лишь на первый взгляд кажется парадоксальным, заставляет нас объединять результаты трех различных исследований: одного – из области социологии наук, другого – из практики экологических движений, третьего – из сравнительной антропологии. В этом и заключается вся сложность этой главы: чтобы увидеть подлинный предмет нашего исследования, мы должны принять на веру свидетельства, каждое из которых потребовало бы не одного тома. Или же мы теряем драгоценное время, чтобы убедить в этом читателя, или же продвигаемся максимально быстро, давая ему возможность судить о древе по плодам его, то есть ждем следующих глав, чтобы увидеть, каким образом изложенные постулаты позволяют видоизменить различные формы общественной жизни.

Начнем с небольшого достижения из области социологии науки, без которого весь наш маневр был бы неосуществим. В дальнейшем мы просим читателя различать *науки*• во множественном числе с маленькой буквы и *Науку*• в единственном числе с заглавной; признать, что рассуждения о Науке не относятся напрямую к научным практикам; что проблема знания предстает в совсем ином виде, когда ей грозят Наукой и когда она связана с настоящими науками, которые часто идут обходными путями; а также принять идею о том, что если природа в единственном числе непосредственно связана с Наукой, то науки совершенно не нуждаются в подобном объединении. Если мы попытаемся рассмотреть вопрос политической экологии, делая вид, что Наука и науки являются частью одного проекта, мы придем к совершенно различным выводам. На самом же деле в первых разделах мы определим Науку• как *политизацию наук посредством эпистемологии, призванную парализовать обычную политическую жизнь перед лицом постоянной угрозы со стороны не терпящей возражений природы*. Нам, разумеется, придется обосновать это определение, вступающее в очевидное противоречие с благоразумием. Но если в одном только слове «Наука» скрывается целый клубок противоречий, связанный с политикой, природой и знаниями, который нам предстоит распутать, то нетрудно догадаться, что мы не можем отправиться в путь, не устранив помеху, которую Наука всегда создавала для осуществления политики и исследовательских практик ученых (5).

Для начала – выйти из Пещеры

Чтобы продвигаться быстро и без ущерба для ясности, нет ничего лучше мифа. Запад издревле унаследовал одну аллегория, определяющую отношения Науки и общества: а именно аллегория Пещеры[•], рассказанную Платоном в «Республике». Мы не будем погружаться в хитросплетения истории греческой философии. В этом хорошо известном мифе мы всего лишь зафиксируем два разрыва, позволяющих нам драматизировать эффект добродетелей, которые мы приписываем Науке. Ведь именно тиранию социального, общественной жизни, политики, субъективных ощущений, пошлой суеты, говоря коротко – темной Пещеры должен искоренить Философ, а позднее – Ученый, если он хочет добраться до истины. В этом, согласно мифу, суть первого разрыва. Не существует никакой связи между миром людей и доступом к «нерукотворной» истине. Аллегория Пещеры позволяет одновременно сформировать определенную идею Науки и определенную идею социального мира, которая позволит оттенить ее красоту. Но этот миф также предполагает и другой разрыв: Ученый, отныне вооруженный нерукотворными законами, которые он узрел, вырвав их из ада социального, может вернуться в Пещеру, чтобы навести там порядок при помощи не подлежащих обсуждению выводов, которые заставят замолчать невежд с их бесконечной болтовней. Здесь также нет никакой непрерывности между неопровержимым отныне объективным законом и человеческим, слишком человеческим многословием потерянных во тьме узников, которые не знают, как прекратить свои бесконечные дискуссии.

Находка этого мифа, позволяющая объяснить столь продолжительное его воздействие, заключается в одной странности: ни один из этих разрывов не исключает появления его прямого антипода, воплощенного в единой героической фигуре Философа-Ученого, одновременно Законодателя и Спасителя. Хотя мир истины отличается от мира социального абсолютно, а не относительно, Ученый, несмотря ни на что, может *переходить* из одного мира в другой и обратно: ему одному открыт путь, недоступный для остальных. В нем и благодаря ему волшебным образом рушится тирания социального мира, позволяя Ученому созерцать объективный мир, а по возвращении дает ему возможность, подобно новому Моисею, поправить тиранию невежества скрижалю непререкаемых научных законов. Без этого двойного разрыва нет ни Науки, ни эпистемологии, ни зависимой политики, ни западной концепции общественной жизни.

В оригинальном варианте мифа, как известно, Философу удавалось порвать цепи, связывавшие его с миром теней, лишь ценой невероятных усилий, но как только он, преодолев все препятствия, возвращался в Пещеру, его старые сокамерники предавали смерти гонца, принесшего добрую весть. Много веков спустя, слава Богу, Философа, ставшего Ученым, ожидает куда лучшая участь. Серьезные бюджеты, огромные лаборатории, влиятельные компании, высокопроизводительное оборудование позволяют сегодня в полной безопасности путешествовать между социальным миром и миром Идей, а затем возвращаться обратно в темную Пещеру, которую они только что озарили. За двадцать пять веков только одна вещь не изменилась ни на йоту: двойной разрыв, радикальный характер которого позволяет поддерживать саму форму бесконечно воспроизводимого мифа. Таково препятствие, которое мы должны преодолеть, если хотим изменить понятия, в которых рассуждаем об общественной жизни.

Лаборатории могут быть огромными, зависимость исследователей от промышленников – сколь угодно велика, технический персонал – неисчислимы, средства преобразования информации – эффективны, теории – конструктивны, а модели – искусственны, но все это не будет работать, заявят вам с порога, так как Наука может выжить только при условии абсолютного, а не относительного разделения на вещи «как они есть» и «представления о них людей». Без этого разделения между «онтологическими» и «эпистемологическими» вопросами нравствен-

ность и социальная жизнь окажутся под угрозой (6). Почему? Потому что без него не будет непрерываемого авторитета, который сможет оборвать бесконечную болтовню мракобесов и невежд. Больше не будет способа отличить истинное от ложного. Не будет возможности избавиться от социального детерминирования, чтобы понять, каковы вещи на самом деле, и за отсутствием этого фундаментального понимания нельзя будет лелеять надежду на поддержание мира в общественной жизни, которому всегда будет угрожать гражданская война. Природа и человеческие представления о ней смешаются в ужасном хаосе. Общественная жизнь, погруженная сама в себя, будет лишена той трансцендентности, без которой нельзя будет завершить ни один спор.

Если вы вежливо возразите, что именно та легкость, с которой ученые переходят из мира социального в мир внешних фактов, та непринужденность, с которой они осуществляют импорт-экспорт научных законов, и та скорость, с которой они конвертируют человеческое в объективное, доказывают, что между двумя мирами нет существенного разрыва и что речь идет о ткани без швов, то вас обвинят в релятивизме; заявят, что вы пытаетесь дать «социальное объяснение» науки; обнаружат у вас пугающую склонность к имморализму и, возможно, прилюдно спросят, верите ли вы в реальность внешнего мира и готовы ли броситься с пятидесятого этажа, поскольку законы притяжения также «социально сконструированы» (7).

Необходимо найти способ обезвредить этот софизм философов науки, который на протяжении двадцати пяти веков лишает слова политику, как только она затрагивает вопросы природы. Признаемся сразу: избежать этой ловушки практически невозможно. Хотя, казалось бы, что может быть невиннее эпистемологии•, знания о знании, скрупулезного описания научных практик со всеми свойственными им сложностями. Не будем путать эту разновидность эпистемологии, пользующуюся заслуженным уважением, с другим видом деятельности, который мы обозначили при помощи выражения *(политическая)• эпистемология*, поместив первое слово в скобки, так как эта дисциплина утверждает, что ограничивается Наукой, хотя ее единственной задачей является принижение политики (8). Эта разновидность эпистемологии не ставит своей задачей *описание* наук, в противоположность тому, что подразумевает ее этимология, она направлена на то, чтобы *приостановить* всякое исследование природы сложных отношений между науками и сообществами, призывая Науку в качестве единственного спасения от ада социального. Двойной разрыв, отсылающий к Пещере, не основан ни на одном эмпирическом исследовании, наблюдаемом факте, он прямо противоречит как здравому смыслу, так и повседневной практике ученых; а если бы он и существовал когда-либо, то двадцать пять веков существования наук, лабораторий, научных институтов давно не оставили бы от него и следа. Но этого не произошло: эпистемологическая полиция постоянно обнуляет это обыденное знание, создавая двойной разрыв между элементами, которые связывают все воедино, при этом выставя тех, кто подвергает ее сомнению, релятивистами, софистами и имморалистами, которые хотят лишить нас возможности доступа к внешней реальности и косвенным образом реформировать общество.

Для того чтобы идея двойного разрыва на протяжении веков держалась под напором очевидных, но противоречащих ей фактов, в пользу ее необходимости должен быть весьма весомый довод. Этот довод может быть только политическим или религиозным. Необходимо предположить, что *(политическая) эпистемология* зависит от чего-то другого, что позволяет ей сохранять свое положение и придает ей сомнительную эффективность. Чем иначе объяснить то чувство затаенной мести, с которым всегда встречали социологию наук? Если бы речь шла только об описании лабораторных практик, мы не слышали бы всех этих криков, а социологи без всяких проблем смешались бы со своими собратьями антропологами. Своим праведным гневом *(политические) эпистемологи* выдали сами себя: их уловка больше не действует. Больше в эту паутину не попадет ни одна мошка.

В чем сегодня польза мифа о Пещере? В том, чтобы узаконить Конституцию*, которая разделяет общественную жизнь на *две палаты* (9): в первой размещается придуманный Платоном кинозал, в котором заключены невежды, не способные видеть друг друга и осуществляющие связь друг с другом посредством неких фикций, спроецированных на некое подобие киноэкрана; тогда как вторая находится снаружи, в мире, населенном не людьми, а нелюдьми, безразличными к нашим раздорам, нашему невежеству и ограничениям, которые наложены на наши представления и фантазии. Основная хитрость этого примера заключается в том, что существует очень небольшое количество людей, способных путешествовать между двумя собраниями и конвертировать свой авторитет в другом мире. Несмотря на гипнотический эффект, производимый Идеями даже на тех, кто претендует на ниспровержение платоновской модели, речь ни в коем случае не идет о противопоставлении мира теней и реальности, а скорее о том, чтобы *распределить полномочия* и одновременно дать некоторое определение Науки и некоторое определение политики. Вопреки первому впечатлению, речь в данном случае идет не об идеализме, а о самом что ни на есть приземленном способе политической организации: миф о Пещере делает возможным демократию, одновременно нейтрализуя ее – в этом его единственное преимущество.

Каково на самом деле *распределение полномочий* между этими двумя палатами согласно Конституции, ограниченной (политической) эпистемологией? Первая включает в себя совокупность людей, наделенных даром речи, но лишенных всякой власти, кроме той, что позволяет им пребывать в полном невежестве или вырабатывать некоторый консенсус относительно фикций, которые не имеют ничего общего с внешней реальностью. Вторая состоит исключительно из реальных объектов, способных определять то, что действительно существует, но не наделенных даром речи. С одной стороны – вздорная болтовня, с другой – безмолвная реальность. Это изящное построение основывается исключительно на власти, данной тем, *кто способен переходить из одной палаты в другую*. Небольшая группа избранных экспертов, способных осуществлять переход между двумя ассамблеями, в свою очередь будет иметь право голоса, поскольку эти эксперты являются людьми; а также возможность говорить правду, потому что они избегают социального мира за счет наложенной на самих себя аскезы истинного знания и наконец способны навести порядок в человеческой ассамблее, заткнув ей рот: ведь только они могут вернуться в нижнюю палату, чтобы преобразить томящихся в заключении рабов. Одним словом, эти немногие избранные располагают самыми невероятными политическими возможностями из когда-либо изобретенных, а именно: *заставить заговорить безмолвный мир, глаголить истину, не встречая возражений, положить конец нескончаемым прениям за счет непререкаемого авторитета, которым их наделили сами вещи*.

Однако, на первый взгляд, подобное разделение властей продержится недолго. Для этого потребуется слишком много неправдоподобных гипотез и необоснованных привилегий. Народ никогда не согласится считать себя сборищем пожизненно осужденных, которые не могут ни общаться напрямую, ни понимать, о чем они вообще говорят, и которым только и остается, что болтать попусту. К тому же никто не согласится наделять подобной властью путешествующих туда и обратно экспертов, которых никто не выбирал. Даже если мы согласимся с этим очевидным набором нелепостей, как можно предположить, что только Ученые имеют доступ к вещам, которые сами по себе непостижимы? Еще одна сумасбродная идея: каким чудом можно объяснить, что безмолвные до сих пор вещи обретают дар речи? Что еще за четвертый или пятый фокус наделяет эти реальные вещи, обретшие дар речи благодаря вещающим от их лица королям-философам, невероятной способностью стать настолько непререкаемыми, чтобы заставить замолчать всех остальных? Как вообразить, что все эти неодушевленные предметы могут быть использованы для решения проблем узников, когда удел человеческий изначально был определен через разрыв со всякой реальностью? Нет, право же, едва ли эта волшебная сказка

может сойти за политическую философию, не говоря уже о том, чтобы стать ее высшей разновидностью.

Это означало бы забыть о вкладе, малозаметном, но при этом весьма весомом, (политической) эпистемологии: одну из этих ассамблей мы обозначим, помещая ее в скобки, как «Науку», а другую – как «Политику». Мы превратим этот определенно *политический* вопрос о распределении полномочий между двумя палатами в проблему разграничения между необъятным и чисто эпистемологическим вопросом о природе Идей и внешнего мира, а также пределов нашего познания, *с одной стороны*, и исключительно политическим и социологическим вопросом о природе социального мира – *с другой*. Это означает, что политическая философия навеки останется кривоглазой. Важная работа политической эпистемологии постоянно вытесняется очевидной путаницей, которую создает эпистемологическая полиция, смешивая политику (в смысле границы между Наукой об Идеях и миром Пещеры) с политикой (в смысле страстей и интересов тех, кто в этой Пещере заключен).

Поскольку речь идет о конституционной теории, которая заставляет заседать отдельно людей, отрешенных от всякой реальности, и нелюдей, наделенных всей полнотой власти, то мы спокойно утверждаем, что нельзя смешивать возвышенные вопросы эпистемологии о природе вещей с низменными политическими вопросами о ценностях и трудностях совместного проживания. Что за дешевый трюк! Как те ловушки, в которые легко проскальзывает угорь, не имея никакой возможности выбраться наружу. Если вы попытаетесь выбраться из нее за счет активных телодвижений, она затянет вас еще сильнее, поскольку вас тут же обвинят в желании «смешать» вопросы политики и познания. Вам заявят, что вы политизируете Науку, что вы хотите свести окружающий мир к тем проекциям, которыми вынуждены довольствоваться рабы, скованные одной цепью! Что вы не признаете никаких критериев для суждения об истинном и ложном! Чем больше вы спорите, тем больше вас дурачат. Те, кто политизировал науки[•], чтобы сделать невозможной политическую жизнь, оказываются в положении обвиняющего, упрекая вас в том, что это вы осквернили чистоту науки своими пустыми рассуждениями об обществе. Те, кто разделяет при помощи софизма общественную жизнь на Науку и социум, объявят софистом именно вас. Вы умрете от жажды или удушья, прежде чем сможете перекусить прутья решетки этой тюрьмы, в которую позволили себя заточить.

Политический замысел, скрытый за этими требованиями эпистемологического характера, было бы несложно обнаружить, если бы не одна незначительная с виду гипотеза, которая выдвигается вместе с мифом о Пещере: весь этот механизм не будет работать, если народ не помещен предварительно во мрак подземелья, при этом каждый индивид, прикованный к своей скамье, помещается отдельно от других, не имея никаких контактов с реальностью, и, как и подобает жертве слухов и предрассудков, всегда готов вцепиться в горло тому, кто попытается их искоренить. Одним словом, без определения социологии нельзя представить себе эпистемологическую полицию. Разве так живут люди? Да какая разница! Миф предполагает, что мы сначала спускаемся в Пещеру, обрываем бесчисленные связи с реальностью, прекращаем любое общение с себе подобными, забрасываем всякую научную работу и становимся невежественными, полными ненависти паралитиками, чьи головы забиты всяким вздором. Именно в этот момент к нам на помощь приходит Наука. Куда менее убедительный в этом смысле, чем библейская притча о грехопадении, миф начинается с описания нашего ничтожества, причина которого от нас скрыта. Поскольку никакой первородный грех не обязывает нас отсчитывать начало общественной жизни от эпохи пещерных людей. И здесь (политическая) эпистемология несколько переоценила свои возможности: она может какое-то время забавлять нас своим театром теней, в полумраке которого контрастно выступают Добро и Зло, *Right and Might*², но она не может – заставить нас купить билет на свой нравоучительный спектакль. Поскольку

² Право и власть (англ.).

просвещение не сможет пустить нам пыль в глаза, если (политическая) эпистемология не заставит нас спуститься в Пещеру, то для выхода из нее есть средство куда проще предложенного Платоном: не входить в нее!

Любая нерешительность в вопросе о внешнем характере Науки должна вмиг отбросить нас к «простой социальной конструкции». Мы постараемся уйти от этой пугающей дилеммы: либо реальность внешнего мира, либо ад социального. Этот капкан может сработать только при условии, что никто не возьмется за одновременное исследование Науки и общества и не поставит под сомнение *одновременно* эпистемологию и социологию. Необходимо, чтобы изучающие Науку верили в то, что социологи говорят о политике, а социологи, в свою очередь, верили утверждениям (политических) эпистемологов относительно Науки. Другими словами, необходимо, чтобы не было никаких социологов *различных наук*, потому что в этом случае отчетливо просматривались бы возможные альтернативы и контраст был бы сглажен, так как стало бы понятно, что в Науке нет ничего похожего на науки, а в коллективе – на ад социального. Спасение посредством Науки снисходит только в социальный мир, предварительно лишенный всякой возможности стать нравственным, рациональным и ученым. Но для того чтобы эта теория Науки могла выполнять объяснительную функцию для научных практик, необходимо ввести не менее абсурдную теорию социального, которая занималась бы анализом общественной жизни (10).

Как только эта уловка будет разоблачена, она лишится всякого эффекта. Мы сомневаемся, что эпистемологические вопросы можно рассматривать как если бы они существовали отдельно от организации социального тела. С этого момента, в ответ на требование цензоров поставить «важные» вопросы о существовании объективной реальности, не стоит больше выбиваться из сил в попытке доказать, что мы, несмотря ни на что, остаемся «реалистами». Достаточно задать встречный вопрос: «Смотрите, как интересно; вы пытаетесь организовать жизнь гражданского общества, разделив ее на *две палаты*, одна из которых обладает авторитетом, но не имеет дара речи, а вторая им наделена, будучи лишенной авторитета; вы действительно считаете, что это разумно?» Вопреки эпистемологической полиции, нужно заниматься политикой, а не эпистемологией. При всем при этом политическая мысль Запада длительное время была парализована этой пришедшей извне угрозой, которая в любой момент могла сделать бессмысленными столь долго занимавшие ее дискуссии: неоспоримость нечеловеческих законов, смешение Науки и наук, сведение политики к адской Пещере.

Отказавшись от мифа о Пещере, мы значительно продвинулись, поскольку отныне знаем, как избежать ловушки, связанной с политизацией наук (11). Задача нашей книги не в том, чтобы доказать эту нехитрую мысль из области социологии науки, а в том, чтобы понять ее последствия для политической философии. Как представить себе демократию, которая существует вне постоянной угрозы со стороны Науки? На что будет похожа общественная жизнь тех, кто откажется войти в Пещеру? Какую форму примут науки, освобожденные от необходимости политической поддержки Науки? Какими свойствами обладала бы природа, если у нее больше не было бы возможности прерывать политические дискуссии? Подобные вопросы можно поставить, едва мы все вместе однажды выйдем из Пещеры, в завершении сеанса (политической) эпистемологии, которая, как мы теперь понимаем, оглядываясь назад, только *сбивала* нас с пути, который должен был вести нас к политической философии. Подобно тому как мы различали Науку и науки, мы противопоставим политике-власти•, наследнице Пещеры, политику, понимаемую как *постепенное построение общего мира*•.

Экологический кризис или кризис объективности?

Нам возразят, что социология наук пока не получила достаточного распространения. Поэтому едва ли с ее помощью можно заново изобрести признаваемые всеми формы общественной жизни. Каким образом эти выводы, понятные лишь немногим, помогут нам составить представление о здравом смысле будущего? В первую очередь мы добавим их к мощному социальному движению политической экологии, в котором, как это ни странно, они помогут многое прояснить. Отныне всякий раз, когда речь будет заходить о природе, будь то с целью защитить ее, подчинить, подвергнуть критике, сохранить или же попытаться игнорировать, мы будем знать, что подразумевается *вторая палата, управляющая общественной жизнью, работу которой таким образом хотят парализовать*. Поскольку речь идет о проблеме политической Конституции, а не о выделении определенной сферы бытия, то возникают два вопроса: почему наши оппоненты настаивают на существовании двух отдельных палат, притом что только одна из них называется политической? Какой властью обладают те, кто осуществляет сообщение между двумя палатами? Ведь теперь, после развенчания мифа о Пещере, нас больше не будет смущать призыв обратиться к природе, поскольку мы в состоянии отличить, что в политической экологии является традиционным, а что новым, что является продолжением эпистемологической полиции, а что позволит создать политическую эпистемологию будущего.

Результат не заставит себя долго ждать: литература о политической экологии, прочитанная в этом ключе, окажется сплошным разочарованием. На самом деле, она всего лишь воспроизводит Конституцию модерна[•], которая сводится к политике *двух палат*, одна из которых называется собственно политикой, а вторая именем природы лишает ее всякой власти (12). Все эти воспроизведения, эти *ремейки*, могут даже показаться интересными, когда заявляется претензия на переход от антропоцентризма модерна, который иногда называют «картезианским», к природоцентризму экологов, как если бы, начиная с истоков западной цивилизации, то есть с первоначального мифа о заключении в Пещеру, никто не задумывался об организации общественной жизни, не сводя ее к двум палатам, одной из которых является природа. Если политическая экология представляет проблему, то не потому, что она *наконец* включает природу в сферу политических интересов, которые до этого были сосредоточены на людях, а потому, что она, *к сожалению, продолжает использовать природу, чтобы помешать рождению политики*. Серую и безразличную природу (политических) эпистемологов прошлого экологи попросту заменили на зеленеющую и отзывчивую. Во всех остальных отношениях эти две природы похожи друг на друга: будучи аморальными, они предписывают стандарты нравственного поведения вместо этики; оставаясь аполитичными, они принимают политические решения вместо политики (13). Необходимо сделать эти малоприятные выводы, чтобы обеспечить различные экологические движения философией, которая отвечала бы масштабу их амбиций и соответствовала бы их подлинной новизне.

В таком случае, почему мы интересуемся политической экологией, если произведенная ею литература возвращает нас к Пещере? Чтобы показать, что мы и предлагаем в настоящем разделе, что политическая экология не занимается или *перестала наконец* заниматься природой, а в еще меньшей степени – ее сохранением и защитой (14). Чтобы следить за ходом этой деликатной операции, читателю необходимо вслед за различением наук и Науки согласиться на новое различие между *практикой* экологических движений последних тридцати лет и *теорией*, которой пользуются ее активисты. Первую мы будем называть активистской [militante] экологией[•], а вторую – философией экологии[•] или *Naturpolitik*[•] (выражение по образцу *Realpolitik*³).

³ Природная политика, реальная политика (нем.).

Если кажется, что мы столь часто к ней несправедливы, то именно по причине нашего живого интереса к экологическим движениям (15).

Всегда есть опасность, которую мы прекрасно осознаем, в отделении теории от практики: риск заключается в том, что мы как бы намекаем на неспособность активистов понять, чем они занимаются, а также на то, что они впадают в заблуждение, которое уже было развеяно философом. Если мы прибегаем к этому опасному разделению, то только потому, что «зеленые» движения, намереваясь придать природе политическое измерение, затрагивают самую суть того, что мы называем Конституцией модерна• (16). Ибо, избрав довольно странную стратегию, которая является предметом настоящей главы, *экологические движения под предлогом ее защиты способствовали сохранению концепта природы, который делает их борьбу неосуществимой на практике*. Поскольку «природа», как мы вскоре убедимся, создана именно для того, чтобы выпотрошить политику, мы не можем претендовать на ее сохранение, даже вынося ее на публичное обсуждение. Поэтому в весьма занимательном случае политической экологии у нас есть полное право говорить о всевозрастающем разрыве между цветущей пышным цветом практикой и ее теоретическим обоснованием (17).

Как только мы переключим свое внимание на реальные экологические кризисы, то сразу поймем, что они предстают совсем не как кризисы, связанные с «природой». Они, скорее, предстают в виде *кризисов объективности*, как если бы новые предметы, которые мы совместно производим, не умещались в прокрустово ложе двухпалатной политической системы, а традиционным «лысым объектам» отныне противопоставлялись «лохматые» или всклокоченные объекты, которыми активисты усыпают свой путь. Нам необходима эта нелепая метафора, чтобы подчеркнуть, до какой степени кризис касается *всех* объектов, а не только отмеченных товарным знаком «натуральных» – ярлыком столь же сомнительным, как и контроль подлинности происхождения (18). Поэтому политическая экология раскрывается не благодаря кризису объектов экологии, а за счет общего конституционного кризиса, который затрагивает *все* объекты. Попробуем это доказать, набросав список различий между тем, что политическая экология считает своим делом, и тем, чем она занимается на практике (19).

1. Политическая экология претендует на то, чтобы рассуждать о природе, но на самом деле она рассуждает о всевозможной путанице, которая всякий раз предполагает участие людей.

2. Она претендует на то, чтобы охранять природу, защитив ее от человека, но практически во всех случаях это оборачивается еще большим участием людей, которые вмешиваются все чаще, все более изощренными способами, воздействуя на чувствительные зоны при помощи всепроникающего научного оборудования.

3. Она претендует на защиту природы ради нее самой, а не в качестве суррогата человеческого эгоизма, но всякий раз эта высокая миссия осуществляется ради уюта, удовольствия и спокойной совести небольшого количества тщательно отобранных людей, главным образом американцев, мужчин, богатых, образованных и белых, которым удастся ее обосновать.

4. Она претендует на то, чтобы мыслить в категориях Систем, известных как Законы Науки, но всякий раз, когда она пытается свести все к действию высшей причины, она оказывается вовлечена в научный спор, в котором нет согласия между экспертами.

5. Она претендует на то, что ее научные модели заимствованы у кибернетически организованных иерархий, но при этом всегда выставляет напоказ самые причудливые и гетерархические конструкции, причем масштаб и время, необходимое на их взаимодействие, всегда поражают тех, кто берется рассуждать о хрупкости или прочности Природы, о ее величии или незначительности.

6. Она претендует на то, чтобы рассуждать обо Всем, но ей не удается поколебать сложившиеся мнения или изменить расстановку сил, не привязываясь к местам, биотопам, ситу-

ациям, конкретным событиям: двум китам, зажатым во льдах, семи слонам в Амбосели, тридцати платанам на площади дю Тертр.

7. Она желает увеличить свой авторитет и стать воплощением политической жизни будущего, но повсюду ограничена небольшим количеством катапультируемых кресел и откидных сидений, предусмотренных избирательной системой. Даже в тех странах, где она становится все более влиятельной, это все еще не более чем вспомогательная сила.

Вернемся к этому списку, рассматривая ее вышеперечисленные слабости как достоинства.

1. Политическая экология не рассуждает о природе и никогда не пыталась этого делать. Она занимается сложноорганизованными ассоциациями различных существ: распорядками, приборами, потребителями, учреждениями, нравами, быками, коровами, свиньями, выводками, поэтому было бы легкомысленно включать ее в нечеловеческую и внеисторическую природу. Природа не является проблемой экологии, которая, напротив, размывает ее контуры и перераспределяет ее движущие силы.

2. Политическая экология не собирается *охранять* природу и никогда не пыталась этого делать. Напротив, она пытается еще полнее вобрать в себя неисчислимое многообразие элементов и судеб. Если модернизм претендовал на то, чтобы править миром, экология вмешивается буквально во все.

3. Политическая экология никогда не претендовала на то, чтобы служить природе ради нее самой, потому что она никогда не была в состоянии отличить общее благо от собственно природы, свободной от присутствия людей. Она делает нечто гораздо более важное для защиты природы (как для нее самой, так и для грядущего блага человечества). Она *ставит под вопрос* нашу уверенность относительно высшего блага людей и вещей, целей и средств (20).

4. Политическая экология не понимает, что такое эколого-политическая Система, и не развивается за счет сложной Науки, чье устройство и приемы недоступны несчастному человечеству, которое посвящает ей свои изыскания и помыслы. В этом ее огромное достоинство. Она *не знает*, что составляет систему, а что нет. Она понятия не имеет о взаимосвязях. Разногласия ученых, в которых она запуталась, как раз и отличают ее от любых научно-политических движений прошлого. Только она может извлечь пользу из новой научной политики.

5. Ни кибернетика, ни иерархия не позволяют понять воздействие агентов, потерявших равновесие, хаотических, дарвинистских, то локальных, то глобальных, иногда быстрых, иногда медленных, которые проявляются благодаря множеству экспериментальных и абсолютно оригинальных установок, совокупность которых, к счастью, не является частью определенной Науки.

6. Политическая экология не в состоянии включить свои конкретные и своевременные действия во всеобъемлющую и четко организованную программу и никогда не пыталась этого делать. Именно эта неосведомленность относительно целого ее и спасает, поскольку она не может уместить в рамках одного порядка мелких людишек и необъятные слои озона или же маленьких слоников и среднего размера страусов. «...Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла» (Мф. 21: 42).

7. Политическая экология, к счастью, до сих пор оставалась *маргинальной*, поскольку до сих пор не понимала, в чем заключается ее политика или экология. Она думала, что рассуждает о Природе, о Системе, об упорядоченной Целостности, о мире, в котором отсутствуют люди, о надежно застрахованной Науке, но именно эти заумные разговоры ставят ее в маргинальное положение, тогда как ненавязчивое обсуждение ее реальных практик, возможно, позволит ей достичь политической зрелости, если она сможет понять, в чем заключается ее смысл.

Таким образом, политическую экологию характеризует не кризис природы, а кризис объективности. На смену объектам, находящимся вне зоны риска•, или привычным нам лысым объектам приходят *рискованные соединения*• или всклокоченные объекты (21). Попробуем

определить, в чем состоит отличие между объектами старого и нового образца, коль скоро мы отвыкаем от понятия природы.

Объекты вне зоны риска обладают четырьмя отличительными чертами, которые сразу позволяют их распознать. Прежде всего, произведенный объект имеет *отчетливые границы*, определенную сущность[•], признаваемые всеми свойства. Он, вне всякого сомнения, принадлежит к миру вещей, состоящему из устойчивых и неизменных элементов, подчиненных законам каузальности, эффективности, рентабельности, правдоподобия. После чего исследователи, инженеры, администраторы, предприниматели и специалисты, которые сохраняют, производят и выводят эти объекты на рынок, становятся *невидимыми*, едва его производство завершено. Все виды научной, технической и промышленной деятельности остаются вне поля зрения. Наконец, эти «объекты вне зоны риска» приводят к ожидаемым и неожиданным последствиям, которые осмысливаются, исходя из их влияния на *другую* вселенную, состоящую из элементов, контуры которых определить значительно сложнее и которые неопределенно обозначают как «социальные факторы», «политическое измерение», «иррациональный аспект». Согласно мифу о Пещере, объект вне зоны риска, относящийся к старому конституционному порядку, производил впечатление метеора, который обрушивается извне на социальный мир, служивший ему мишенью. Наконец, некоторые из этих объектов могли, иногда по истечении многих лет, стать источником серьезной опасности, то есть спровоцировать катаклизмы. В любом случае эти последствия или катастрофы *никогда не подпадали* под первое определение объекта, его границ, поскольку они всегда принадлежали миру, несоизмеримому с миром объектов, а именно миру непредсказуемой истории, хаоса, политического кризиса, беспорядка. Несмотря на это влияние, которое мы могли, вопреки всему, отследить, катастрофические последствия не подпадают задним числом под определение объектов и не находятся в зоне их ответственности; они ничему не учат тех, кто их спровоцировал, и не заставляют их изменить свойства самих объектов.

Случай асбеста может послужить для нас примером, потому что речь идет об одном из последних объектов, которые можно назвать модернистскими. Идеальный материал (его называли *magic material*⁴), одновременно стабильный, эффективный и рентабельный; потребовались десятки лет, чтобы его воздействие на здоровье заставило усомниться в нем изобретателей, фабрикантов, апологетов и проверяющих; десятки предупреждений и судебных процессов потребовались для того, чтобы профессиональные болезни, случаи рака, а также проблемы с утилизацией в конце концов позволили обнаружить их причину и стали ассоциироваться с асбестом, который из идеального и стабильного материала сжался в пугающий клубок, сплетенный из права, гигиены и риска. Такого рода объекты по-прежнему часто встречаются в благоразумном мире, в котором мы живем. И все же, подобно диким травам во французском саду, объекты еще более причудливых очертаний начинают портить картину, закрывая своими ветвями модернистские объекты (22).

Как нам представляется, лучший способ охарактеризовать экологический кризис – это признать все большее распространение, наравне с лысыми объектами, рискованных соединений[•] (23). Они имеют принципиально иной характер по сравнению с предыдущими; это объясняет, почему всякий раз при их появлении мы говорим о кризисе. В отличие от предшественников, у них нет ни четких очертаний, ни определенной сущности, ни резко обозначенного разрыва между твердым ядром и окружающей средой. Именно это свойство делает их всклокоченными и помещает в ризомы и сети. Во-вторых, их производители не остаются невидимыми, вне поля зрения, но в один прекрасный момент проявляются, привнося проблемы, противоречия, сложности, интересы вместе со своим оборудованием, лабораториями, цехами, заводами. Научное, техническое и промышленное производство с самого начала закладывается в

⁴ Волшебный материал (англ.).

их определение. В-третьих, влияние этих псевдо-объектов не объясняется их внезапным вторжением из другого мира. У них есть масса связей, щупалец, ложных ножек, которые связывают их с существами столь же мало уверенными в собственном бытии, которые по этой причине больше не образуют *иную, независимую от первой, вселенную*. Для их анализа больше не нужен социально-политический мир, с одной стороны, и объективно-рентабельный – с другой. Наконец, что самое странное, их больше нельзя отделить от неожиданных последствий, к которым они приводят в долгосрочной перспективе, в каком-то отдаленном и несоизмеримом мире. Напротив, от них, как это ни парадоксально, ожидают связанных с ними неожиданных последствий, которые они не замедлят вызвать, признавая при этом свою ответственность и извлекая из этого уроки, в соответствии со вполне прозрачным познавательным процессом, который отражен в их определении и протекает в том же самом мире.

Знаменитые прионы, вызывающие так называемое коровье бешенство, символизируют рискованные соединения точно так же, как асбест – старые объекты вне зоны риска. Мы считаем, что бурный рост политической экологии можно связать с распространением новых существ, которые теперь смешиваются с классическими объектами, всегда определявшими общую перспективу (24). Нам кажется, что разница между объектами вне зоны риска, «лысыми объектами» и «лохматыми» является более существенной, чем разница между кризисами, которые ставят под сомнение экологию, и теми, что ставят под сомнение природу. Мы констатируем не включение проблематики природы в сферу политических дебатов, а резкое увеличение числа лохматых объектов, которые больше нельзя ограничивать одним природным миром, точнее, что ничто больше нельзя подвергнуть натурализации.

Изменяя таким образом само понятие экологического кризиса, мы можем осмыслить самую парадоксальную черту политической экологии, которая прямо противоречит тому, на что она претендует. Ни в коем случае не *обобщая* свою предметную область и не доверяясь полностью природе, практика политической экологии отличается полным *непониманием* тех ролей, которые отводятся различным акторам• (25). Политическая экология не переключает все внимание с одного полюса на другой, переходя от человека к природе; она плавно перемещается от *уверенности* относительно производства объектов вне зоны риска (с его четким разделением людей и вещей) к *неуверенности* во взаимоотношениях, последствия которой угрожают нарушить все предписания, смешать все планы, создать помехи любому влиянию. Она столь убедительно ставит под сомнение саму возможность раз и навсегда *собрать воедино* действующие лица и ценности, чтобы поместить их в рамки строгой иерархии (26). Так самая ничтожная действующая сила начинает производить огромный эффект; разрушительный катаклизм исчезает как по мановению волшебной палочки; изумительный продукт приводит к страшным последствиям; чудовище приручается безо всякого труда. В случае политической экологии мы всегда оказываемся в невыгодном положении, поражаясь то устойчивости экосистем, то их уязвимости (27). Действительно, не пора ли всерьез отнестись к апокалиптическим прогнозам некоторых экологов о «конце природы».

Конец природы

Теперь мы понимаем, почему политическая экология не в состоянии сохранить природу: *если под природой мы подразумеваем некое общее понятие, которое позволяет нам объединить все существа в рамках одной упорядоченной иерархии, то политическая экология на практике проявляется именно в упразднении идеи природы*. Улитка может заблокировать плотину, Гольфстрим может внезапно исчезнуть, террикон – стать биологическим резервом, а черви – превратить почвы Амазонии в бетон. Больше нет никаких оснований для ранжирования различных существ в порядке их значимости. Когда неистовые экологи с дрожью в голосе восклицают: «Природа скоро умрет», то они сами не знают, насколько они правы. Слава Богу, природа умрет. Да, великий Пан умер! После смерти Бога и человека природе тоже пора на покой. Давно пора, ведь мы уже практически не в состоянии заниматься политикой.

Читатель, возможно, возмутится этим парадоксом. Он имеет представление о глубинной [profonde] экологии в ее популярном изводе, этом расплывчатом движении, претендующем на то, чтобы реформировать политику во имя «высшего природного равновесия». Между тем глубинная экология находится максимально далеко от экологии политической, и путаница между ними вносит разлад в стратегию «зеленых» движений. «Зеленые» убеждены, что могут располагаться в самом широком политическом спектре: от самого радикального до реформистского, но при этом согласны с тем, что глубинная экология занимает крайнюю позицию. Отсюда параллель, которая совершенно не кажется нам случайной: глубинная экология завораживает экологию политическую, как коммунизм завораживал социализм, а змея – свою жертву... Но глубинная экология не является радикальной формой экологии политической; она *вообще не имеет к ней отношения*, так как иерархия существ, которую она выстраивает, состоит из объектов вне зоны риска, лысых, современных, которые располагаются ярус за ярусом, в определенном порядке: от Космоса до микробов, не забывая о Матери-Земле, человеческих сообществах, обезьянах и т. д. Производители этого знания неизменно остаются за кадром, точно так же, как источники возможной неопределенности, а разделение между объектами и миром политического, на котором они так настаивают, остается настолько совершенным, что может показаться, будто у глубинной экологии нет другой цели, кроме принижения политического и уменьшения его власти, которую надлежит подчинить куда более могущественной и куда лучше замаскированной власти природы и невидимых экспертов, решающих, что и как она должна и может делать (28). Претендуя на то, чтобы освободить нас от антропоцентризма, глубинная экология возвращает нас в Пещеру, потому что она целиком зависит от *классического* определения политики, которую природа делает беспомощной и от которой политическая экология, по крайней мере посредством своих практик, пытается нас избавить (29).

Мы наконец понимаем, почему должны различать то, чем занимаются экологические активисты, и то, что они думают о своей деятельности: если мы определяем политическую экологию как то, что увеличивает число рискованных соединений, то даем ей новый важный принцип отбора, не ограниченный вопросом о том, занимается ли она природой, тем более что подобный вопрос очень скоро покажется нам не только поверхностным, но и политически опасным. В своей практике политическая экология постоянно нарушает порядок классификации существ, открывая во все большем количестве неожиданные взаимосвязи и в корне изменяя представления об их важности. В любом случае, если в силу модернистской теории, от которой, как ей кажется, она не в состоянии отказаться, и если она все еще верит, что «защищает природу», то она будет столь же часто терять свой предмет, сколь и попадать наугад. Ее будет в еще более извращенной манере смущать глубинная экология, защищая наиболее важные существа, расположенные в самом строгом и непрерываемом порядке, всегда оказываясь выше и используя в своих интересах власть, которой ее наделил миф о Пещере. Всякий раз

сталкиваясь с существами, связи между которыми непонятны и непредсказуемы, политическая экология *будет сомневаться в себе самой*, полагая, что теряет свою силу, приходя в отчаяние от собственной беспомощности и стыдясь этой слабости... Как только ситуация начнет развиваться непредвиденным образом, то есть практически всегда, политическая экология будет считать, что ошибается, поскольку она надеялась отыскать, в соответствии с принципами природы, возможность расставить в порядке важности все существа, связь между которыми она пыталась установить. Но *именно ошибаясь* и вводя лохматые объекты, возможная форма которых непредсказуема и делает невозможным использование самого понятия природы, политическая экология наконец-то занимается своим делом, обновляет политическую систему, избавляя нас от модернизма и препятствуя бесконечному умножению лысых и не подверженных риску объектов, с их невероятным перечнем неоспоримых истин, невидимых ученых, предсказуемых эффектов, просчитанных рисков и неожиданных последствий.

Теперь мы видим проблему, с которой сталкиваемся, смешивая практику и теорию политической экологии: оппоненты как глубинной, так и поверхностной экологии чаще всего упрекают ее за то, что она сливает человека с природой, забывая при этом, что человечество определяет себя именно через свою «оторванность» от законов природы, от «данности», от «простой причинности», «чистой непосредственности» или «предрефлексивности» (30). Они вменяют экологии в вину ее желание низвести человека до уровня объекта, заставив его ходить на четвереньках, как иронически заметил Вольтер по поводу Руссо. «Именно потому, что мы, утверждали они, свободные субъекты, несводимые к простым законам природы, мы достойны называться людьми». Что лучше всего подходит под это определение оторванности от природы? Конечно же политическая экология, потому что она кладет конец тысячелетней неразрывной связи природы и публичного обсуждения! Она и только она выводит из игры политическое по своей сути понятие *природного порядка*.

Мы без труда понимаем, что уже не можем мыслить политическую экологию как принципиально новую сферу деятельности, необходимость которой была осознана Западом в середине XX века, как если бы, начиная с пятидесятых или – не суть важно – шестидесятых или семидесятых годов, политики наконец-то поняли, что вопрос природных ресурсов должен быть включен в перечень их повседневных забот. Никогда, начиная с первых греческих дискуссий о совершенстве общественной жизни, о политике не говорили в отрыве от природы (31); или, точнее говоря, к природе никогда не обращались, не желая тем самым преподать политический урок. Не было написано ни единой строчки, по крайней мере в западной традиции (32), где за такими словами, как природа, природный порядок, закон природы, естественное право, жесткая причинность, незыблемые законы, не следовало бы, через несколько строчек или параграфов, некоторое утверждение о том, как реформировать общественную жизнь. Разумеется, можно изменить смысл этой притчи и с одинаковым успехом критиковать как социальный порядок при помощи природного, так и порядок природы с точки зрения человека; можно даже попытаться положить конец их связи; однако в любом случае нельзя сделать вид, будто бы речь идет о принципиально различных сферах деятельности, которые развивались отдельно друг от друга и впервые пересеклись каких-то тридцать или сорок лет назад. Концепции политического и концепции природы всегда оставались в тесной связке подобно двум сиденьям на детских качелях: когда одно поднималось, другое неизменно стремилось к земле. Никогда не существовало политики, которая не была бы одновременно политикой *природы*, как и природы, которая не была бы *политической*. Эпистемология и политика – это, как мы теперь поняли, составные части одного и того же процесса, объединенного под грифом (политической) эпистемологии, чтобы сделать недоступными для понимания как научные практики, так и саму суть общественной жизни.

Этот двойной результат, полученный за счет совместных усилий социологии науки и практической экологии, позволит нам дать определение ключевому понятию *коллектива*•,

смысл которого мы постепенно будем уточнять. На самом деле, важность самого понятия «природы» заключается не в исключительном характере сущностей, которые она предположительно объединяет, и не в том, что они относятся к какому-то определенному региону бытия. Сила воздействия этого выражения объясняется тем, что мы всегда употребляем его в *единственном числе*: *та самая природа* [*la nature*]. Когда мы апеллируем к понятию природы, объединение, которое она узаконивает, значит бесконечно больше, чем онтологическое качество «природности», происхождение которого она гарантирует. Благодаря природе мы убиваем сразу двух зайцев: мы определяем некое существо по его принадлежности некоторой сфере реального, одновременно помещая его в объединенную иерархию, которая простирается на все виды существ от самых больших до самых малых (33).

Доказательства привести не сложно. Замените повсюду единственное число множественным, природу на *природы*. Этим природам будет невозможно найти какое-либо применение. «Естественные» права? Сложно сочинять конкретные законы, руководствуясь подобным множеством. Как вдохновить пылкие умы на классический спор о роли генетики и окружающей среды, если мы примемся сравнивать влияние природ и культур? Как умерить аппетиты промышленности, если мы говорим, что она должна защищать «природы»? Как сделать науки своим рычагом, если мы считаем их науками, изучающими «природы»? Каким образом «законы природ» могут смирить гордыню законов человеческих? Нет, множественное число категорически не подходит политическому определению природы. Множество плюс множество в сумме дают еще одно множество. Однако, начиная с мифа о Пещере, именно *единство* природы является ее главным политическим достоинством, потому что только это объединение, это упорядочивание, может конкурировать с *иной формой* объединения, компоновки, самой что ни на есть традиционной и издревле называемой *той самой* политикой. В этом споре между политикой и природой, как в старой тяжбе, что на протяжении всех Средних веков противопоставляла Папу Императору, можно найти две лояльности по отношению к двум одинаково легитимным типам тотального, между которыми разрывалась тогда совесть христианина. Если сегодня мы к месту и не к месту используем понятие мультикультурализма[•], то понятие мультинатурализма[•] все еще кажется нам шокирующим и лишенным всякого смысла (34).

Какое влияние на этот давний спор оказывает политическая экология? На это указывает само ее название. Вместо *двух* отдельных полей, в которые можно попытаться поместить все иерархии существ, чтобы иметь возможность выбирать между ними, никогда, впрочем, не достигая внятного результата, политическая экология предлагает учредить *единственный* коллектив, роль которого как раз и заключается в обсуждении подобной иерархии и поиске приемлемого решения. Политическая экология предлагает переместить объединяющую функцию различных классов сущего из двойного поля политики и природы в *единое поле* коллектива. По крайней мере, она занимается этим *на практике*, не позволяя ни природному, ни социальному порядку по отдельности и окончательно определять, что принимать в расчет, а что нет, что разделено и что связано, что находится внутри, а что – снаружи. Умножение объектов, которые ведут к кризису классического конституционного порядка, это то средство, которое политическая экология, со всей свойственной ей практической изощренностью, сумела использовать для делегитимации одновременно политической традиции и того, что можно назвать традицией натуралистической – *Naturpolitik*[•].

Но именно того, что она осуществляет на практике, по крайней мере в нашем понимании, политическая экология старательно избегает в теории. Даже если она ставит под вопрос природу, проблема ее единства никогда не рассматривается (35). Причина этого несоответствия вскоре прояснится, хотя нам потребуется целая книга, чтобы извлечь из этого пользу. Пока мы принимаем всерьез (политическую) эпистемологию, то есть пока мы не изучаем с одинаковым интересом научные практики и практики политические, природа *ни в коем случае* не может стать объединительной силой высшего или сопоставимого с политикой порядка. По крайней

мере пока. А когда сможет? Как обосновать употребление единственного числа: «та самая» природа? Почему она не может предстать как множество? Почему она, наконец, не решит опираться на политику, как Папа на Императора, чтобы мы увидели, что речь идет о двух ветвях власти, которые можно критиковать одновременно? Благодаря одному волшебному изобретению, от которого она уже давно избавилась на практике, но для того, чтобы сделать это в области теории, потребуется приложить немало весьма болезненных усилий. Из-за *разделения между фактами и ценностями*, которым мы займемся в третьей главе. Природа, как мы охотно признаем, обладает мощной объединительной силой, но *исключительно* в отношении фактов. Политика, все с этим согласится, тоже наделена силой, способной объединять, устанавливать иерархию, упорядочивать ценности и только лишь ценности. Два порядка выглядят не просто различными, а несовместимыми. Не об этом ли велся в Средние века спор между сторонниками Папы и Императора? Именно об этом, но сегодня мы представляем их как вполне совместимые, хотя и враждебные ветви власти, по той причине, что мы подвергли их одновременной секуляризации. В этом и заключается наша гипотеза: *мы еще не подвергли секуляризации две связанные друг с другом ветви власти, коими являются природа и политика*. Они по-прежнему представляются нам как две совершенно различные области, причем первая даже не заслуживает того, чтобы называться властью. Мы все еще живем в плену мифа о Пещере (36). Мы все еще ждем спасения от двухпалатного парламента, одна из палат которого называется политической, а вторая всего лишь выражает скромное желание определять факты, нисколько не сомневаясь, что эта надежда на спасение грозно нависает над нашей общественной жизнью, подобно тому как когда-то небо грозило «нашим галльским предкам». Эта ловушка установлена (политической) эпистемологией, именно она до сих пор мешала экологическим движениям прийти к адекватной политической философии.

Мы пока не надеемся убедить читателя в справедливости этого важного утверждения, возможно самого трудного для понимания во всем нашем совместном обучении. Нам потребуется вся вторая глава, чтобы придать связность понятию коллектива людей и нелюдей, вся третья глава, чтобы избавиться от разделения на факты и ценности, а затем – вся четвертая, чтобы заново определить этот коллектив при помощи различных процедур, как научных, так и политических. Но читатель, без сомнения, уже готов допустить, что политическая экология больше не может быть описана как нечто, побуждающее политический разум заниматься экологическими проблемами. В этом случае можно было бы говорить о непоправимом смещении фокуса с непредсказуемыми последствиями, потому что оно полностью перевернуло бы смысл истории, помещая природу, изобретенную как средство сделать политику беспомощной, в эпицентр движения, призванного ее ассимилировать. Мы считаем, что куда продуктивнее было бы рассматривать новый подъем политической экологии как то, что, напротив, *положит конец*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.